БУХАНКА

Сегодня первый раз в этом году спустил на снег пластиковые лыжи. Солнечный морозный день, безветрие, скольжение прекрасное. Лес за Ботаническим садом полон хаски. Взрослые, дети, рюкзаки, термосы – и собаки. Насчитал не меньше дюжины, в основном светлые, с рыжими подпалинами, похожие на лаек, но есть и черные с белыми лапами – те мельче, тощее, узкомордей. Спрашиваю одного из лыжников, чтобы завязать разговор:

– Это ведь японские, да?

– Это хаски, – отвечает строго.

А сам весь красный, потный, потому что у него на поводке две собаки, тянут в разные стороны, он кричит:

– Правее! Левее! – и все время падает, потому что они вокруг него крутятся, лезут под ноги.

– А черный кто?

– Это хаски!

Я ж не виноват, что его собаки не различают право и лево. В наше время вовсе не было таких собак. Были лайки, овчарки, у меня в Кинешме был боксер – в тех краях невиданный зверь, его даже принимали за обезьяну. Прекрасно помню, как ребенок кричал: мама, мама, смотри – обезьянка! Меня обидел именно этот уменьшительно-ласкательный суффикс: Динго был не намного меньше дога, я больше никогда не видел таких гигантов, обычные боксеры – среднего роста. Обезьянка!

Вот Мартина, американского бульдога, никто бы не посмел назвать обезьянкой. Однажды мы с ним шли по Ильинке, и маленький мальчик спросил на всю улицу:

– Мама, это ког`ова?

На этот раз я не обиделся: корова – достойное животное, и размер солидный. А сердитого мужика на лыжах можно понять: хаски – сибирская ездовая, какая еще на фиг Япония? И сынишка его рядом корячится, толстый, неуклюжий, бестолковый. Отец, запутанный в собаках, кричит ему:

– Ногу, ногу выправляй! – у пацана одна лыжина под ветку заскочила, а второй он эту ветку прижал. – Переступай!

– Как?

– Правую ногу сдвигай, а левую тяни!

– Ну ка-а-к?!

Навстречу настоящая упряжка летит, но в постромках почему-то три хаски. Лаются, конечно, тесно им, и люди за ними бегут какие-то взъеро­шенные. Сошел с главной лыжни на радиальную, подальше от этой суеты. Предварительно стрелку нарисовал, острым концом в обратную сторону. В прошлом году я кружил по этому лесу несколько часов, пытаясь выйти к машине. Раньше здесь была биатлонная трасса, через лес серпантином нарезали просеки, похожие на аллеи, только с крутыми подъемами-спусками. Сейчас бегают по ним без ружей, конечно. Некоторые даже на хасках, на салазках.

Я, конечно, поздно собрался. Середина декабря, самые короткие дни, небо сквозь заснеженные ветки розовеет, дело к закату. Но я ж ненадолго, просто отмечу приход настоящей зимы, пробегусь пару километров – и домой, ужинать.

Стрелки задом наперед ставлю на каждой развилке. Да развилок-то немного, аллея, утрамбованная коньковым шагом, плавно забирает влево, потом вправо, чуть вверх, потом вниз, потом налево вверх. Чувствую – увлекся, надо бы обратно, но уже не хочется возвращаться, кажется, пара спусков, подъемов, поворотов – и вырулю к тому месту, откуда начал. И ведь помню прекрасно, что и в прошлый раз казалось то же самое, что и плутанул поэтому, но продолжаю идти вперед. Может быть, вот если сюда, по этой не очень-то проторенной лыжне…

Стрелку, конечно, рисую на снегу, иду до тех пор, пока не понимаю, что это обман, что я начинаю крутиться по серпантину точно так же, как в прошлый раз. Возвращаюсь, вижу свою стрелку, иду направо, довольный собой. Иду подозрительно долго, вижу развилку, но без стрелки. Проглядел? Иду обратно. Вот давешняя поворотная стрелка. Поворачиваю. Решаю идти, пока не увижу стрелку.

Самое смешное: слева – или справа, если повернуть, – шумит трасса, там летят машины с Горной, с Анкудиновки – в Кузнечиху, им навстречу из Кузнечихи через Горную или Амурскую – на проспект Гагарина. Очень оживленная трасса, совсем рядом, и вот уже лыжня поворачивает на шум, я ускоряю шаг – и снова поворот, и снова ухожу на виток серпантина. Можно, конечно, шурануть по этой аллее до конца вниз, в овраг, и по этому оврагу пойти налево, он точно выходит к Ботаническому саду, но это долго, уже темнеет, и телефон, как на грех, сел, Ольга там с ума сойдет.

Иду по какой-то занесенной радиальной лыжне, почти напролом, лишь бы на шум городской, но и эта лыжня забирает влево. Выхожу на истоптанную елочкой аллею, точно такую же, с которой десять минут назад сошел: сначала пологий склон, потом все круче, с крутым поворотом – это я уже быстро спускаюсь, перед поворотом резко торможу, вижу человека с непокрытой головой, круглой, коротко стриженной, темные волосы сильно прорежены сединой. Смотрит доброжелательно, как будто давно уже меня поджидает. Спрашиваю:

– Дальше овраг?

– Овраг.

– Я по нему дойду до Ботанического сада?

– Дойдете, только там ручей незамерзающий, можно провалиться. Лучше ве́рхом.

– Да я уж там крутился, наверху.

– Вот если вы сейчас пойдете обратно в гору… Что-то лицо мне ваше знакомо. Передачи ведете по телевизору?

– Было дело.

– Знаете что? Давайте-ка я вас провожу.

Вдвоем идти веселее. Спрашиваю: «А вы откуда сюда заходите?» – «С Новопокровского». – «Это где ТИЗы?» – «Да, я как раз и есть тизовец». – «Знаю-знаю, делали мы сюжеты из Новопокровского. Боря Немцов там земли раздал без дорог, коммуникаций – значит, вы тоже купились?» – За разговорами не замечаю, что он неважно себя чувствует. Лицо бледное. Когда вышли наверх, встал, чтобы отдышаться:

– Нужно передохнуть. Просто чувствую жжение в груди. Идет регенерация легких.

– Что ж вы не сказали! Я бы не гнал так в гору.

– Да ничего. Я специально хожу здесь на лыжах, чтобы ускорить адаптацию к новым легким.

– К новым?

– К старым, конечно, но они уже начали перерождение. Регенерация, понимаете?

– Вы бы шапку надели, еще и голову простудите.

– У меня шапка-невидимка. Внутренняя энергия. Я уж не молод, пятьдесят шесть, но занимаюсь йогой, лечу людей. Сам за собой наблюдаю, как идет регенерация.

– А мне шестьдесят шесть, – говорю, и, чтобы не выглядеть шибко здоровым в его глазах, сообщаю про свою аритмию: вот, дескать, тоже себя выгуливаю. – Идите, – говорю, – вперед своим темпом. А то, может, уж лучше я дальше один?

– Нет-нет, я вас выведу.

И вывел – прямо к моей самой первой стрелке!

– Спасибо! – говорю и по-настоящему радуюсь. Ведь реально темнеет. А ему еще в Новопокровское. – Ну, счастливо! Поправляйтесь, вентилируйте свои легкие.

Вдруг он говорит, глядя пристально:

– Дайте-ка я вас посмотрю.

Отнекиваюсь: знаю, мол, как тяжело брать на себя чужую болезнь. «Ну дайте хоть пульс пощупаю! Все равно какую – правую, левую». Бормочу, что у меня все в порядке, пульс нормальный, перебои только к вечеру, на худой конец корвалол... В общем, сдаюсь. Пальцы у него крепкие, цепкие. «Дыши́те носом!» Шумно дышу сквозь сопли. «Спокойно дышите, ровно! Левый желудочек увеличен… Митральный клапан пропускает…»

– Я знаю.

– Знаете? – говорит то ли удивленно, то ли удовлетворенно: вот, мол, доктора вам всякие приборы навешивали, а я только пульс пощупал – и всё уже знаю. – Сейчас я вам его поправлю, и больше не будет пропускать.

Благодарю от всей души, прощаемся, называем имена. Евгений Калин. – Бог даст, свидимся, Евгений!..

Грею машину, запихиваю лыжи и палки в салон, соскребаю свежий ледок с лобового стекла. Калин, Калин…

В то лето мы жили на площади Ленина, в Канавине. Был душный вечер, мы сидели на скамейке, смотрели на Оку, на остров, ели только что купленный горячий хлеб, отщипывали по кусочку от черной пахучей буханки. На острове тогда еще был пляж, к нему с набережной вел понтонный мостик. На мостике стоял человек, маленькая фигурка, но видно было, что он в сером не по сезону костюме и что он снизу вверх смотрит на нас. Когда двинулся к берегу, я сразу подумал – к нам, и угадал: он поднялся по бетону, прошел очень близко от нашей скамейки, не отрывая от Ольги глаз.

По нашим тогдашним меркам, он был немолод, старые туфли на босую ногу, под пиджаком несвежая рубашка, но гладко выбрит. Круглая коротко стриженная голова с легкой сединой. Лицо красивое, но какое-то темное, будто задымленное. Глаза необыкновенные. В них столько было того, что португальцы называют – «фаду», что мне показалось, будто я слышу музыку тоски, обреченности на вечную муку неразделенной любви, залитое лунным светом лицо, по которому ходят лунные тени воспоминаний. О, любовь, ты прошла, словно ветер!

Он уже уходил, но оглянулся – и все-таки решился подойти к нам:

– Можно сесть?

Ольга подвинулась, спросила:

– Хотите хлеба?

– Хочу.

Она была прекрасна в тот вечер. Она и так была красивой, молодой, худой, загорелой, с распущенными промытыми волосами, крылатые брови, огромные улыбающиеся глаза. А в тот вечер… Как-то очень хорошо у нас было в тот вечер. И он это почувствовал, конечно.

Он сказал, что его зовут Аркадий, что он не мог пройти мимо нашей скамейки – он обращался исключительно к Ольге, как будто меня тут не было, но я уже к такому привык – потому что она очень похожа на его жену, что они с женой вот так же, на скамейке, когда-то ели хлеб. Ему нельзя было не поверить – из-за глаз: они были совсем мокрые, но не от слез. Как будто там реки текли.

В общем, он нас как-то уговорил пойти к нему домой – тут рядом, недалеко, на улице Марата, – и мы пошли. Молодые были, глупые, доверчивые. Очень друг друга любили, казалось, что весь мир за нас.

Старый дом, провонявший кошками подъезд, тусклый свет на площадке второго этажа, дверь обшарпанная, но с медной табличкой: «А.В. Канин». Было уже понятно, что за дверью – тоска смертельная, последний предел. Почти никакой мебели, только голый стол, на который Ольга не решилась положить полусъеденную буханку. Два венских стула.

Он поставил на стол бутылку портвейна и долго мыл единственный стакан. Налил сначала мне. Дешевый портвешок, не помню даже марку. Ну все, подумал я, опять грелка, дюбаж. Но выпил – куда ж деваться. После меня выпила Ольга, глядя мне в глаза, и я понял, какие мы с ней идиоты. А он подошел к двери, ведущей в другую комнату, открыл ее настежь, щелкнул выключателем и позвал:

– Хочу, чтобы вы посмотрели.

В совершенно пустой комнате стоял третий венский стул, над ним, на одном крюке, висели горящая лампочка и веревка, казавшаяся продолжением электрического провода.

– Осталось петлю приспособить, – улыбаясь, сказал Аркадий.

– Но вы этого не сделаете, – сказала Ольга.

Он кивнул:

– Теперь не сделаю.